

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 23. “На заклятие за Россию...”

Виктор Мануйлов вспоминал, что в 1921 году Есенин говорил с ним о Клюеве с большой нежностью, как о старшем брате, говорил о том, что без Клюева он остался бы несмышлёнышем и в жизни, и в поэзии. Незадолго до этого разговора Есенин писал Иванову-Разумнику письмо из Ташкента в Москву, где Клюев поёт у него “Россию по книжным летописям и ложной зарисовке всех приходимцев”, что “Клюев совсем стал плохой поэт, так же как и Блок”. Ещё до этого он отправил Разумнику письмо, где высказался о своих прежних учителях и наставниках в том же ключе, и, не получив ответа, счёл необходимым объясниться ещё раз. Объяснялся по поводу “мастерства в нашем языке”, но, по сути, убеждал самого себя в необходимости разрыва с прежними наставниками и рачителями ради высвобождения из-под их влияния и дальнейшего “раздвигания зрения над словом”... Второе письмо так и осталось неотправленным, и понимание того, чем он в жизни обязан Клюеву, никуда не делось.

Клюев же снова и снова возвращался памятью к жестоким есенинским строчкам: “Ты сердце выпеснил избе, но в сердце дома не построил...” И волей-неволей задавался вопросом – каков же дом самого Серёженьки?.. Разные слухи доходили до него. Николай Ильич Архипов, приехавший из Москвы, многое порассказал о есенинской жизни, о быте на Пречистенке, об Айседоре Дункан, захомотавшей “братика”... Снова и снова вставала пред глазами Клюева картина: его возможное пришествие на порог нынешнего есенинского “дома”.

*Стариком, в лохмотья одетым,
Притащусь к домово́й о́граде...
Я был когда-то поэтом,
Подайте на хлеб, Христа ради!*

Как бы тяжело ни жилось Клюеву в эти годы, как бы материально он ни нуждался – милостыню не просил. Просить её придётся спустя несколько лет, уже в Москве, вышвырнутому из литературы поэту. Так прозвучало ещё одно жуткое пророчество о будущей нерадостной жизни.

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9, 10 за 2010 год, № 1, 3, 5 за 2011 год.

*Я скоротал все просёлки,
Придорожные пни и камни!..
У горничной в плоёной наколке
Боязливо спрошу: “Куда мне?”*

*В углу шарахнутся трости
От моей обветренной палки,
И хихикнут на деда-гостя
С дорогой картины русалки.*

Два мира, две жизни, два диаметрально противоположных друг другу об-
раза. Нищий – и бывший его собрат во дворце с горничной. Обветренная
палка – и трость, с которой так любил фотографироваться в те годы Есенин.
И даже русалка – на “дорогой картине”, для услаждения “народным”...

*За стеною Кто и Незнаю
Закинут невод в Чужое...
И вернусь я к нищему раю,
Где Бог и Древо печное.*

Вопрос и ответ не узнавших странника становятся живыми-чужими, что не
“в затонах тишины созвучьям ставят сеть”, но ловят Чужое в Чужом... И стран-
ник, бывший поэтом, возвращается к родимому печному Древу, которое
в следующей строфе преображается в одно мгновение.

*Под смоковницей солодовой
Умолкну, как Русь, навеки.*

Он шёл к печному Древу, а очутился под смоковницей... Его не узнал брат
во Слове, а вместо Древа Жизни – дерево, что по Библии, если не приносит
доброе плода, то его “срубают и бросают в огонь”. Там – модная трость,
здесь – смоковница, напомнившая ещё раз о “недобром плоде”, что прино-
сит ныне Есенин.

И не просто смоковница... Солодовая. Солод–то есть, да пива нету. Пива
того, духовного, что причащало его с “братцем” на их “вечерях”. И ещё даль-
ше отсылает этот не пригодившийся “солод” – к “пивушку”, которым прича-
щался сам Клюев у “христов”, к “пивушку”, которое, по их словам, “человек
плотскими устами не пьёт, а пьян бывает”... Но не сектантский смысл несёт
в себе эта коннотация – она вызывает в памяти у понимающего смысл проис-
ходящего старые радельные напевы: “Ай, кто пиво варил, ай, кто затирал?
Варил пивушко Сам Бог, затирал Святой Дух”... Здесь – воспоминание о бла-
готворном духовном пиршестве, что никогда не вычеркнет из своей жизни ни
один, ни второй.

Поистине, бездонно клюевское слово. И сам он это подтверждает любо-
му “фоме неверующему”.

*В моё бездонное слово
Канут моря и реки.*

А смертный мотив, столь часто повторяющийся в “Львином хлебе”, здесь
объединяет поэта и мать–Русь, упокоившихся до Судного дня.
Кого же оставляют они на Земле?

*Домовину оплачет баба,
Назовёт кормильцем и ладою...
В листопад рябины и граба
Уныла дверь за оградой.*

*За дверью пустые сени,
Где бродит призрак костлявый,
Хозяин Сергей Есенин
Грустит под шарманку славы.*

Кто же реально ближе к смерти? Клюев, которого проводят ласковым словом, или живой Есенин, слышащий “шарманку славы” и стук костей?

Да не просто слышащий – “грустящий” под шарманку свалившейся на него славы.

Тут и качество самой славы явлено. И печаль о братике, совсем ей не радуемся.

Запомнит это Есенин. Запомнит – и через несколько лет со всей грустью ответит Клюеву в “Чёрном человеке”.

*Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.*

“Роща в сентябрь” – это сказано в унисон с клюевским “листопадом рябины и граба”. И когда Николай Ильич Архипов в своих воспоминаниях привел слова Есенина, якобы говорившего Клюеву, что “деревья съехались, как всадники” – это его, клюевское, – то, скорее всего, речь шла о той же “осыпающейся роще”...

Но продолжался и незримый диалог. “Листопад рябины и граба” удивительным образом перекликнулся с “осенней гулкой ночью”, сначала обдавшей героев есенинского “Пугачёва” дождём, а в финале “общипавшей как тополь зубами дождей Емельяна”. “Призрак костлявый” проявился под пером Клюева в есенинском “доме” одновременно с появлением у Есенина “тени с верёвкой на шее безмясой” – призрака Петра III, чью личину натягивал на себя есенинский Пугачёв – дабы “обтянуть тот зловещий скелет парусами и пустить его по безводным степям, как корабль” – в предчувствии неминуемого конца.

Клюев писал своё стихотворение в ноябре 1921-го, когда Есенин вычитывал последнюю корректуру трагедии. “Пугачёв” выйдет через месяц, а ещё через месяц Николай прочтёт его почти одновременно с есенинским письмом, где братик ему напомнит: “А о тебе я всегда помню, всегда ты во мне присутствуешь”.

Ранее, в Петрограде, Клюев обронил в сердцах о любимом некогда Серёженке: “Ему бы хоть в тюрьму попасть. Он понял бы луч солнечный и слово человеческое”. Теперь же, растроганный, корил себя за эти слова. А тут ещё Архипов передал ему на словах всё самое доброе, сказанное Есениным: “Учитель... люблю... ценю...” И, не скрывая нахлынувших чувств, писал свой ответ.

“Ты послал мне мир и поцелуй братский, ты говорил обо мне болезненные слова, был ласков с возлюбленным моим и уверял его в любви своей ко мне – за это тебе кланяюсь земно, брат мой великий!

Облил я слезами твоё письмо и гостинцы, припадал к ним лицом своим, вдыхал их запах, стараясь угадать тебя, теперешнего. Кожа гремучей змеи на тебе, но она, я верую, до весны, до Апреля урочного...

Семь покрывал выткала Мать-жизнь для тебя, чтобы ты был не показным, а заветным. Камень драгоценный душа твоя, выкуп за красоту и правду родимого народа, змеиный Калым за Невесту-песню.

Страшная клятва на тебе, смертный зарок! Ты обречён на заклятие за Россию, за Ерусалим, сошедший с неба.

Молюсь лику твоему невещественному.

Много слёз пролито мною за эти годы. Много ран на мне святых и грехом смердящих, много потерь невозвратных, но тебя потерять – отдать Мариенгофу, как сноп васильковый, как душу сусека, жаворонковой межи, правды нашей, милый, страшно, а уж про боль да про скорбь говорить нечего...

Коленька мне говорит, что ты теперь ночной нетопырь с глазами, выполосканными во всех щёлоках, что на тебе бобровая шуба, что ты ешь за обедом мясо, пьёшь настоящий чай и публично водку, что шатия вокруг тебя – моллюски, прилипшие к килю корабля (в тропических морях они облепляют днище корабля в таком множестве, что топят самый корабль), что у тебя была длительная, смертная /с/хватка с “Кузницей” и “Пролеткультом”, что теперь они ничто, а ты победитель.

Какая ужасная повесть! А где же рязанские васильки, дедушка в синей поддёвке, с выстроганным ветром бадожком? Где образ Одигитрии-путеводительницы, который реял над золотой твоей головкой, который так ясно зрим был “в то время”?

Но мир, мир тебе, брат мой прекрасный! Мир духу, крови, костям твоим!

Ты, действительно, победил пиджачных бесов, а не убежал от них, как я, — трепещущий за чистоту риз своих. Ты — Никола, а я Касьян, тебе все праздники и звоны на Руси, а мне в три года раз именины...”

Он писал Есенину о несоответствии внешнего и внутреннего в нём, внушал себе, что эта “змеиная кожа” — “до Апреля урочного”, и сам прекрасно знал, что не “бежал” же сам, “сохраняя чистоту риз”, да и сохранить их было невозможно. Оттого и “много ран... грехом смердящих”. Но грехи его — другие, нежели у Серёженьки... А цену “битвы” с пролеткультовцами он знает сам, и “Пугачёва” читал с осознанием того, что переступил Есенин роковую черту.

“Клычков с Коленькой послал записку: надо, говорит, столкнуться нам в гурт, заявить о себе. Так скажи ему, что это подлинная баранья идеология; — да какая же овца безмозглая будет искать спасения после “Пугачёва”? Не от зависти говорю это, а от простого и ясного сознания Величества Твоего, брат мой и возлюбленный.

И так сладостно знать мне бедному, не приласканному никем, за своё русское в песнях твоих...

Золотая пролеткультовская рота кормится на подножном корме, на густо унавоженными ассигнациями в советских лугах. Это всё вытащенное за хвост из всех петербургских помойных ям смердящее тряпье (обломки урыльников, килечные банки и черепья) повергло меня в отчаяние. Я им спел: “На полях прлолеткультских, тамо седохом и плакахом, вспоминая об ассигновке. Повесили свои арфы на Фонтанке...”

Князев пишет книгу толстущую про тебя и про меня. Ионов, конечно, издаст её и тем глуше надвинет на Госиздат могильную плиту. Этот новый Зингер, конечно, не в силах оболванить того понятия, что поэзия народа, воплощённая в наших писаниях, при народовластии должна занимать самое почётное место, что, порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, самым глубоким в народе. Нам с тобой нужно принять это как знамение — ибо Лев и Голубь не простят власти греха её. Лев и Голубь — знаки наши — мы с тобой в львиноголубинности. Не согрешай же, милый, в песне проклятиями, их никто не слышит. “Старый клён на одной ноге”, страж твой неизменный. Я же “под огненным баобабом мозг ковриги и звёзд постиг”. И наваждение — уверение твоё, что я всё “сердце выпеснил избе”. Конечно, я во многом человек конченный. Революция, сломав деревню, пожрала и мой избяной рай. Мамушка и отец в могиле, родня с сестрой во главе забрали себе всё. Мне досталась запечная Мекка — иконы, старые книги — их благоухание — единственное моё утешение.

Но я очень страдаю без избы, это такое уродство, не идущее ко мне положение. Я несчастен без своего угла. Теперь я живу в Вытегре — городишке с кулачок, в две улицы с третьей поперёк, в старом купеческом доме. Спас Нерукотворный, огромная Тихвинская, Знамение, София краснокрылая, татарский Деисус смотрят на меня со стен чужого жилья. И это так горько — не описуемо...”

“Проклятия” в глазах Клюева, которыми согрешает Есенин, — это читанный-перечитанный Николаем “Сорокоуст” и всё та же “Исповедь хулигана”. А что касается схватки с “Кузницей” и Пролеткультом — то не о Есенине здесь в пору вести речь, а о самом Клюеве, в стихах которого “пролеткультовская рота” достаивается отнюдь не злой иронии, что слышна в письме. Нет — пару лет назад Клюев “схватывался” с этой “ротой”, как с врагом красоты, уничтожителем всех русских сокровищ, всего духовного наследия Руси-России.

*Эй, заплечный рогатый мастер,
Готовь для искусства дыбу!
Стальноклювым вороном Гастев
Взгромоздился на древо-судьбу,*

*Клюёт лучезарные дули:
Ухо Скрябина, тютчевский глаз...
В голубом васильковом июле
Свершится мужицкий сказ:*

*Городские злые задворки
Заметелят убийства след,
По голгофским русским пригоркам
Зазлатится клюевоцвет.*

Дошло ведь до того, что на стражу вечной красоты России, “лика Коммуны и русской судьбы” вызывается... Распутин.

*Григорий Новых цветистей Бессалько,
В нём глубь Байкала, сётка бобров.
От газетной ваксы и талька
Смертельно выводку слов.*

*Пересыплют в “Известиях” Киш
Перья сиринов сулемой,
И останутся от России
Кандалы с пропащей сумой.*

Страшное видение грядущего... И оно всё же сменяется видением благотворным. Клюев верит: о н и все – ничто, а его победа неизбежна.

*Брат великий, сосцы овина
Пеклеванный взрастили цвет,
Избяных напевов ряднина
Свяжет молот и злак в букет.*

...И теперь вспоминает он ещё об одном “рядовом” пролеткультовской “роты” – Василии Князеве, авторе “Красного евангелия”, “Песен красного звонаря”, стихотворца не менее плодовитого, чем Демьян Бедный, сочинителя книги, с которой во многом пойдёт на десятилетия отсчёт поэтической репутации Клюева. “Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)” – так будет она называться, а отрывки из неё уже печатались и в “Грядущем”, и в “Красной газете”. Сам Клюев слышал в Питере в князевском исполнении приговор себе самому. “Пахотная идеология”... “Ржаной океан” мистицизма... “Клюев – умер. И никогда уже не воскреснет: не может воскреснуть: – нечем жить!” “Жизнь Есенина” в этом своеобразном сочинении своеобразно “продлилась”, а нынешнее состояние поэта оценивалось как “промежуточное”, более того – ему необходимо: имажинизм, дескать, для него – “лаборатория, док, ангар, гараж, университет, академия... тайная мастерская Дедала...” И это тоже – будет повторяться с перерывами, а в наши дни – с восхищённым придыханием: “Какая ужасная повесть!”

Послушав в устном исполнении Князевым отрывки из “Ржаных апостолов”, Клюев подарил пролеткультовцу двухтомник “Песнослава” с дарственной надписью: “Товарищу Василию Князеву в вечер чтения его статьи обо мне. Н. Клюев. Да славятся уста солнца и сосцы матери-ковриги. Хлеб победит!”

Клюев не знал, что Есенин уже объяснился со своей “пустозвонной братией”... Не попался ему на глаза журнал “Знамя” со статьёй “Быт и искусство”, где, повторяя и развивая отдельные положения “Ключей Марии”, Есенин вырезал, как резцом: “У собратьев моих нет чувства родины во всём широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано всё. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния... Они ничему не молятся, и нравятся им одно только пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть не больше, не меньше, как ни на что не направленные выверты”.

Главное для Николая было всё же в другом. Он перестаёт видеть разницу в отношении к народным поэтам новой и старой власти. Каких-то 5 лет на-

зад, совсем в другой жизни писал он Есенину: “У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моём творчестве, которые в своё время послужат документами, вещественными доказательствами того барско-интеллигентского взгляда на чистое слово и того, что салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества...” Теперь новое барство, “пролетарское”, смотрит на него аракчеевским взглядом, и Николай констатирует с тяжёлым сердцем: “...Порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе...”

Он жалуется, что сестра и брат обокрали его. Что сидит он “на хлебе пополам с соломой, запивая его кипятком” и “просит Бога только о непостыдной и мирной смерти”, что местные исполкомы и политпросветы не имеют никакого понятия о нём как о писателе, “они набиты самым тёмным, звериным людом, опухшим от самогонки”... Представление о нём они, конечно, имеют, но Клюев рисует совершенно безнадёжную картину, не упоминая при этом о своём исключении из партии. Достаточно упоминания того, что “с ними порвала Советская власть”... И далее – как его надул издатель Ионов, какие гроши он получил и за “Песнослов”, и за “Медного кита”, и за “Четвёртый Рим”... И о том, что из берлинского издательства “Скифы” ничего не прислали за изданные “Избьяные песни” и “Песнь Солнценосца”. И в конце – величание Есенина за его последние книги.

“Покрываю поцелуями твою “Трерядницу” и “Пугачёва”. В “Треряднице” много печали, сжигающей скорлупы наружной жизни. “Пугачёв” – свист калмыцкой стрелы, без истории, без языка и быта, но нужней и желаннее “Бориса Годунова”, хотя там и золото, и стены Кремля, сафьянно-упругий сытый воздух 16–17 века. И последняя Византия.

Брат мой, пишу тебе самые чистые слова, на какие способно сердце моё. Скажу тебе на ушко: “Как поэт я уже давно, давно кончен”, ты в душе это твёрдо знаешь. Но вслух об этом пока говорить жестоко и бесполезно.

Радуйся, возлюбленный, красоте своей, радуйся обретший жемчужину родимого слова, радуйся закланию своему за мать-ковригу. Будь спокоен и счастлив...”

Словно намеренно растравляя себя, Клюев завершает письмо буквально князевскими словами. Словно нарочито уничтожаясь (а уничтожение здесь паще гордыни), стремится вдохнуть свою последнюю жизненную силу в “брата и сопесенника”.

“За своё русское в песнях твоих...” “Обретший жемчужину родимого слова...” Это после проклятий “Исповеди хулигана” в “Четвёртом Риме”. “Радуйся закланию своему за мать-ковригу...” Это после “Песни о хлебе” есенинской и своей “Матери-Субботы” – где подлинное “заклание за мать-ковригу”... И ведь в конце – после признания своей “кончины”, “как поэта” – выпрашивает у “брата”: читал ли он второй том “Песнослова”, и как он ему кажется? И каков “Четвёртый Рим”? И прав ли Брюсов, громя “Песнослов” в “Художественном слове”?

Есенин ответил Ключеву не скоро. Перед этим он написал письмо Иванову-Разумнику, который сообщил ему, что затевает новый журнал “Эпоха”. Есенин только этого и ждал – подобной весточки от бывшего наставника; душа в “новом дружеском сообществе” исстрадалась до предела.

“Журналу Вашему или сборнику обрадовался чрезвычайно. Давно пора начать – уж очень мы все рассыпались, хочется опять немного потесней “в семью едину”, потому что мне, например, до чёртиков надоело вертеться с моей пустозвонной братией, а Клюев засыхает совершенно в своей Баобабии. Письма он мне пишет отчаянные. Положение его там ужасно, он почти умирает с голоду. Я встормошил здесь всю публику, сделал для него, что мог, с пайком и послал 10 милл./ионов/ руб. Кроме этого, послал ещё 2 милл./иона/ Клычков и 10 – Луначарский. Не знаю, какой леший заставляет его сидеть там? Или “ризы души своей” боится замарать нашей житейской грязью? Но тогда ведь и нечего выть, отдай тогда тело собакам, а душа пусть уходит к Богу. Чужда и смешна мне, Разумник Васильевич, сия мистика дешёвого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет всё быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо всё и выходит”.

Вот и получается на поверку, что в последнее время Есенин думает о Клюеве с добром, находясь от него на расстоянии. Когда же встретится или прочтёт письмо с нотами, напоминающими об учительстве и покровительстве, сей же час взывает ретивое, и начинается смешение воедино Клюева-поэта и Клюева-человека, причём в самых неприятных для Есенина проявлениях... А напоминание о "Четвёртом Риме", читанном со всё увеличивающимся раздражением, стало, видимо, последней каплей.

"Рим" его, несмотря на то, что Вы так тепло о нём отозвались, на меня отчаянное впечатление произвёл. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. "Молитв молоко" и "Сыр влюблённости" – да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими "бутербродами любви". Интересно только одно фигуральное сопоставление, но увы – как это по-клюевски старо!.. Ну да это ведь погрёк для него очень небольшой, как Клюева. Знаю, в чём его сила и в чём правда. Только бы вот выбить из него эту оптинскую дурь, как из Белого – Штейнера, тогда, я уверен, он написал бы ещё лучше, чем "Избьяные песни". Ещё раз говорю, что журналу Вашему рад несказанно. Очень уж опротивела эта беспозвоночная тварь со своим нахальным косноязычием. Дошли до того, что Ходасевич стал первоклассным поэтом?.. Дальше уж идти некуда. Сам Белый его заметил и, в Германию отъезжая, благословил. Нужно обязательно проветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе, что просто дышать нечем..."

Уже высказав всё, что думал по поводу творчества своих новых "собратьев", Есенин намеренно ёрнически смешивает Клюева с Мариенгофом и Шершеневичем, словно отталкиваясь от горьких слов "сопесенника" – "тебя потерять – отдать Мариенгофу как сноп васильковый, как душу сусека, жаворонковой межи, правды нашей, милый, страшно, а уж про боль да про скорбь говорить нечего". Дескать, не мариенгофский я и не клюевский, а "ласки любимых облепили меня, как икра бутерброд" Шершеневича то же, что "влюблённости сыр" Клюева. Делает вид, что невдомёк ему: "метафорическое одичание" Шершеневича ничего общего с "пищным раем" Клюева не имеет и иметь не может... И здесь же – "знаю, в чём его сила и в чём правда". Дескать, может писать даже лучше, чем его любимые "Избьяные песни".

Самому же Клюеву в письме, написанном перед отъездом за границу, обещает помочь материально, как может.

"Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что причитается со "Скифов"... В Москву я тебе до осени ехать не советую, ибо здесь пока всё в периоде организации и пусто – хоть шаром покати. Голод в центральных губ/ерниях/ почти такой же, как и на севере. Семья моя разбрелась в таких условиях кто куда. Перед отъездом я устрою тебе ещё посылку. Может, как-нибудь и повертись... Потом можешь писать на адрес моего магазина приятелю моему Головачёву... Это на случай безденежья. Напишешь, и тебе вышлют из моего пая, потом когда-нибудь сочтёмся. С этой стороны я тебе ведь тоже много обязан в первые свои дни..."

Что до поэзии, то здесь Есенин, не в пример тому, что было в письме Разумнику, предельно сух и лаконичен: "Уж очень ты стал, действительно, каким-то ребёнком – если этой паршивой спекулянтской "Эпохе" (издательству. – С. К.) за гроши свой "Рим" продал. Раньше за тобой этого не водилось. Вещь мне не понравилась. Неуклюже и слащаво. Ну, да ведь у каждого свой путь".

Это ответ на слова Клюева: "Каждому свой путь. И гибель!" А следующая строчка Есенина – словно протянутая рука уже не на бытовой почве: "От многих других стихов я в восторге". И этот восторг тут же перебивается укором Клюеву по поводу Клычкова. "...Ругать его брось, потому что он тебя любит и сделает всё, что нужно". Это – ещё один посыл к тому, чтобы собраться, наконец, старым друзьям "в семью едину".

А что до "оптинской дури", то Есенин здесь как будто перечёркивает даже сказанное ранее в "Ключах Марии", где Клюев, по его словам, "вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни... повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея"... Только то, что ныне выходило из-под клюевского пера, уже не напоминало ни о какой Оптиной пустыни.

*От иконы Бориса и Глеба,
От стригольничьего Шестокрыла*

*Моя песенная потреба,
Стихов валунная сила.*

*Кости мои от Маргарита,
Кровь от костра Аввакума.
Узорнее аксамита
Моя золотая дума.*

Дониконовская икона, сборник поучений святых отцов, Людогощинский крест секты стригольников, отрицавших “лживых учителей”, “лихих пастырей”, молившихся и каявшихся матери-земле и “от земли к воздуху зряше”... “Валунная сила” — от единения сил Матери — Сырой земли, Бога-отца, Иисуса, с которым как с равным беседуют Богородица и Иоанн Предтеча на не-традиционном “сидячем” деисусе на срединной горизонтали двенадцатиконечного Людогощинского креста 1360 года в новгородской церкви Фрола и Лавра на Людогощей улице — и Аввакумов костёр, вечный символ стояния за истинную веру, костёр, из пламени которого в клубах дыма, по староверческому преданию, протопоп вознёсся на небо.

...В это же время Николай Архипов записывал за Клюевым рассказанные им сны. Сны частью благотворные, но более — страшные и пророчащие о недобром. Два сна поначалу записались, в которых Есенин присутствует.

“Нездоровилось мне... Всю ночь дождь клевал окошко. А когда задремал я, привиделся мне сон.

Будто горница с пустыми стенами, как в приезжих номерах бывает, белесоватая. В белесоватости — зеркало, трюмо трактирное; стоит перед ним Сергей Есенин, наряжается то в пиджак с круглыми полатами, то с фалдами, то клетчатый, то синий с лоском. Нафиксатурен он бобриком, воротничок до ушей, наперед с отгибом; шея жёлтая, цыплячья, а в кадыке голос скачет, бранится на меня, что я одёжи не одобряю.

Говорю Есенину: “Одень ты, Серёжа, поддёвочку рязанскую да рубашу с серебряным стёгом, в которые ты в Питере сокручен был, когда ты из Рязанских краёв “Радуницу” вынес!..”

И оделся будто Есенин, как я велел. И как только оделся, — расцвёл весь, стал юным и златокудрым. И Айседора Дункан тут же объявилась: женщина ничего себе — добрая, не такая поганая, как я наяву о ней думал. Ей очень прилюбилось, что Есенин в рязанском наряде...”

Что происходит? Происходит обретение Есениным гармоничного соответствия внешнего и внутреннего (наконец-то!), русского облачения с коловратовой сущностью. И даже Дункан хорошеет и уже “не такая поганая” (ещё не знаемая Клюевым) рядом с Есениным, вернувшимся в Русь.

“Потом будто приехали мы к большим садам. Ворота перед нами — столбы каменные, и на каждом столбе золотые надписи с перстом указующим высечены: направо — аллея моя, налево — Сергея Есенина...”

И знаем мы, что если пойдём все по одному пути или порознь — по двум, — то худо нам будет...” (А ситуация безвыходная. И путь, как на распутье у ви-тязя, лишь один — прямой). “Сговорились и пошли напрямки...”

Темно кругом стало и ветрено... Вижу я фонтаны по садовым площадкам, а из них не вода, а кровь человеческая бьёт...

И не прошли мы дальше, а свернули вправо, туда, где деревья зелёные...”

Свернули, зная, что “худо будет”. Обоим. Но свернули на дорогу, “нежным песком усыпанную”, подальше от кровавых фонтанов. “Меж деревьев стали изваяния белые попадаться, лица же у изваяний закрыты как бы золотыми масками...”

Стал я узнавать изваяния: Сократа, Сакья-муни, Магомета, Данте...

И вышли мы опять к воротам, в которые вошли, к калитке с моим именем. Подивились мы и порешили пройти и тем путём, который есенинским назван.

Вижу я — серая под ногами земля, с жилками, как стиральное мыло. И по всему пути — огромные мохнатые кактусы посажены, шипы — по ножевому корню. Меж кактусов, как и на первом пути, — болваны каменные, и на всяком болване по чёрной маске одето: Марк Твен, Ростан, Д’Аннунцио, а напоследок Сергей Клычков зародышем каменным уселся. И вместо носа у него дыра, а в дыру таково смешно да похабно сигарка всунута...

Стали мы с Есениным смеяться...

В смехе я и проснулся”.

Что же в итоге? Клюевская тропа — тропа мудрецов, не разгаданных до конца и поныне. Есенинская — тропа тех, кто нарасхват был, гениев, чью жизнь и судьбу определяло “человеческое, слишком человеческое”... А смех их двоих во сне — к горячим слезам наяву.

Второй сон с участием Есенина — ещё более драматический.

“Два сна одинаковые... К чему бы это? Первый сон по осени привиделся.

Будто иду я с Есениным лесным сухмянником, под ногой кукуший лён да богородицына травка. Ветер лёгкий можжевельовый лица нам обдувает; а Серёженька без шапки, в своих медовых кудрях, кафтанец на нём в синюю стать впадает, из аглицкого сукна и рубаха белая белозёрского шитья. И весь он, как берёзка на поже, лёгкий да сквозной.

Беспокоюсь я в душе о нём — если валежина или пень ощёрый попадёт, указую ему, чтобы не ободрался он...

Вдруг по сосняку фырк и рыск пошёл, мяряданье медвежье...

Бросились мы в сторону... Я на сосну вскарабкался, а медведь уже подо мной стоймя встал, дыхом звериным на меня пышет. Серёженька же в чашу побегал прямо медведице в лапы... Только в лесном пролежне белая белозёрская рубаха всплнула и красной стала...

Гляжу я: потянувшись в стволлинах сосновых соки так видимо, до самых макушек... И не соки это, а кровь, Серёженькина молодая кровь...

Этот же сон нерушимым под Рождество вдругорядь видел я. К чему бы это?”

Клюев знал — к чему. Видеть во сне медведя — значит, встретиться наяву с могущественным врагом, жестоким, решительным, но не очень умным. Убить во сне медведя — победить наяву своего врага. А быть растерзанным — к поражению.

“Лёгкий да сквозной” Серёженька к смерти своей сам пошёл. Клюев — до поры на дереве отсиделся.

Страшной реальностью наяву сон этот обернётся.

* * *

Когда в декабре 1921 года Николай Архипов ехал в Москву, он вёз от Клюева подарок — Ленину. Вырезку цикла “Ленин” из второго тома “Песнослава” с дарственной надписью:

“Ленину от моржовой поморской зари, от ковриги-матери из русского рая красный словесный гостинец посылаю я — Николай Клюев, а посол мой сопостник и сомысленник Николай Архипов.

Декабря тысяча девятьсот двадцать первого года”.

Ведь на что-то же рассчитывал Николай, отправляя сие послание. Опальный, отторгнутый от “авангарда”, известный поэт и бескомпромиссный борец за Коммуну в её идеальном, подлинно народоправном воплощении, он пытался уже напрямую дать понять вождю — каким хочет его видеть поэт, по какому пути хочет направить. Он и здесь оставался наставником для того, кто едва ли желал внимать подобным “наставлениям”.

И через несколько лет, уже в новой исторической реальности Клюев будет продолжать твердить своё.

— Красные знамёна — это языки пламени подземного, адова, преисподнего огня. Ленин — земная чёрная сила.

Красные знамёна обернутся адовым огнём. “Красный олень” и “пурпурно-горящий Лев” обратятся в “земную чёрную силу”, и эта чёрная сила — будет отзвуком на письмо Ленина, опубликованное после его кончины, где будущий вождь, ещё сидя в Швейцарии, описывал свои встречи: “...один — еврей из Бессарабии, выдавший виды, социал-демократ или почти социал-демократ, брат — бундовец и т. д. Понатёрся, но лично неинтересен... Другой — воронежский крестьянин, от земли, из старообрядческой семьи. Чернозёмная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать...”

Да не в благодарность ли за эти слова Ленин после своей смерти и был наделён “чернозёмной силой”?

А в последнем из посвящённых Ленину стихотворений, что писалось од-

новременно с посылкой, не земля, но столкновение космических энергий и предчувствие трагедии.

*Ленин на эшафоте,
Два траурных солнца — зрачки,
Неспроста журавли на болоте
Изнывают от сизой тоски.*

*И недаром созвездье Оленя
В Южный Крест устремило рога...
Не спасут заклинанья и пени
От лавинного злого врага!*

Кто — враг? Да вся мировая стихия, взбаламученная и этим человеком, который, как смертный человек, взойдёт на эшафот, сметённый этой стихией, поднявшей и всю человеческую муть, но останется вселенским мифом наподобие индийского Пуруши или греческих титанов.

*Муравьиные косные силы
Гасят песни и пламя знамён...
Волга с Ладогой — Ленина жилы
И чело — грозовой небосклон.*

*Будет буря от Камы до Перу,
Половодье пророчит Изба,
Убегут в грозовую пещеру
Чёрный сглаз и печалей гурьба!*

Это стихотворение приложено к посланию не было. Оно войдёт в книгу “Ленин”, вышедшую за два месяца до кончины “самого человеческого человека”. Книгу Ульянов уже не прочтёт, но цикл из “Песнослава” просмотрит внимательно и оставит в своей библиотеке.

...Через 13 лет, уже из ссылки, Клюев напишет в “Красный Крест” Екатерине Павловне Пешковой: “Ленин посылал мне привет как преданнейшему и певучему собрату”. Трудно сказать, в какой форме этот привет был передан. Возможно, вождь поблагодарил за подарок поэта через ту же Крупскую, которая передала слова мужа Архипову. Дословно их никто не зафиксировал. И остаётся только догадываться — с каким лицом Ленин читал клюевские строки:

*Ленин, лев, лунный лён, лучезарье:
Буква “Люди”, как сад, как очаг в декабре...
Есть чугунное в Пуде, вифанское в Марье,
Но Христово лишь в язве, в пробитом ребре.*

Что думал над этими стихами человек, который мечтал разжечь пожар мировой революции и на пепелище выстроить новый мир — и вынужден был, как истый государственный, скреплять железными обручами страну и воссоздавать в новом виде Российскую Империю? Что думал он — люто ненавидевший Церковь и священство, и тянувшийся к чернозёмному крестьянину, не забывшему Бога, и ради него вынужденный отказываться от примитивных утопических догм? Что бродило в его голове, склонившейся над стихами поэта, написавшего его таким, каким никто и никогда не писал и уже не напишет? Нам этого знать не дано...